

Русская смута 1917 года в разбитом зеркале Сергея Есенина

Вступив в пору зрелого творчества, в 1916 году, Есенин ясно определил демоническую, богопротивную направленность своей лирики, противопоставляя ее русскому Православию, Христу и пытаясь увлечь Родину за собою в «падение роковое» некой новой «веселой веры и одной»:

Не в моего ты Бога верила,
Россия, родина моя!

<...>

Не клонь главы на грудь могучую
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом.

(«Не в моего ты Бога верила...», <1916>) (4, 124)¹.

Подобно падшему демону, поэт тщится превратить свое закатное падение в новый восточный взлет на небеса и не скрывает мрачной ночной сущности своего духа:

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

(«Там, где вечно дремлет тайна...», <1917>) (1, 104–105).

Отлет с земли в «немую тьму» сроден самоубийству, и Родина-Русь, приобщаемая к демонической попытке рождения новой веры, также обречена на смерть, о чем поется в «Сельском часослове» (1918):

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета.

(4, 175).

За гибелью Родины поэт чаёт совершить ее новое рождение в новой вере. Именно совершить, ибо себя в этом творческом порыве он представляет одновременно божественным словом, божественным отцом (творцом-

¹ Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. М.: Наука; Голос, 1995 – 2002. Т. 4. С. 124. Ссылки на это издание приводятся в круглых скобках вслед за выдержками с указанием тома и страниц.

породителем всего сущего) и божественным духом, оплодотворяющим рождение новой твари в лоне очищенного смертью прежнего творения (такое легко приключается на почве пантеизма антихристианских ересей):

Радуйся, Земля!
Деве твоей Руси
Новое возвестил я
Рождение.
Сына тебе
Родит она...
Имя ему – Израмистил.
<...>
Это он!
Это он
Из чрева Неба
Будет высовывать
Голову...

(4, 176–177).

Богородица-Русь по воле бога-поэта становится через смерть «начертательницей Третьего Завета», повествующего о рождении на земле новой ипостаси божества – Израмистила – «мистического изографства» (6, 126), как Есенин объяснил смысл изобретенного божественного имени в письме Р. В. Иванову-Разумнику (см. также: 4, 403–404). Автор своевольно искажает библейское пророчество Исаяи о рождении Христа и подменяет Божие имя. У пророка сказано: *«Сего ради дастъ Господь Самъвамъ знамение: Се Дева во чреве зачнет и родитъ Сына и наречеша имя Ему Еммануилъ»* (Ис. 7:14). Имя Еммануил в переводе с древнееврейского значит: *«Съ нами Богъ»* (Матф. 1:23). Израмистил должен прийти вместо Христа, то есть стать антихристом.

Пик самообожения и соответственно богоборчества совпал у Есенина с кануном русской революции и первыми годами после ее свершения. Поэт вполне понимает, куда стремится, кого прославляет и кого считает своими верными почитателями: *«Славь, мой стих, кто ревет и бесится»* («Пантократор», февраль 1919) (2, 73).

Родина-Русь как Богородица, единосущная самому автору, вовлекается в его упоенное поэзное словотворчество, обращенное к самому себе:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Перед воротами в рай
Я стучусь:
Звездами спеленай
Телицу Русь.

За тучи тянется моя рука,
Бурею шумит песнь,
Небесного молока
Даждь мне днесь. (2, 52).

(«Преображение», ноябрь 1917).

При этом весь порождаемый божественно-пророческим словом новый мир в своей очередной неизбежной порче подлечит очередному уничтожению от очередной ипостаси Бога-творца:

Грозно гремит твой гром,
Чудится плеск крыл.
Новый Содом
Сжигает Егудиил.

(2, 53).

Очередной воплощенный Богомладенец преобразует падший мир, участвуя в его уничтожении:

Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.

(2, 55–56).

А сделав дело, новоявленный спаситель отойдет в свое демоническое ночное царство, подарив обновленному и уже обреченному миру следующего убийцу-обновителя:

А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, –
Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.

И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
Спроклевавшимся птенцом.

(2, 55–56).

Таков же пророк-ангел-бог-поэт в «Инонии» (январь 1918):

Тело, Христово тело,
Выплываю изо рта.
Не хочу воспринять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.

<...>

Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.

(2, 61–62).

Выплевывание «Христового тела», как и пожирание бога в «Октоихе», это, конечно, крошечная черная магия, но не просто безудержная в своей слепой одержимости, а основанная на последовательной, мысленно рассчитанной вере в себя как бога, уничтожающего свое старое бытие и творящего свое же новое.

Богоборчество, кощунство, демонизм, достигающий степени сатанизма (то есть прямого желания занять место Бога) не возникают вдруг, на пустом месте и, конечно, не проходят бесследно. За них приходится платить жизнью души. Как эти настроения возникли в сознании юноши, еще недавно бывшего деревенским крестьянским мальчиком? Набожность деда и бабушки ему не передалась. В краткой автобиографии, написанной в 1923 году, Есенин не разъясняет, почему в детстве он невзлюбил Православную веру и почему, понуждаемый ходить в церковь, занимался обманом и святотатством. Словно бы это было само собою разумеющимся: «Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от “Лазаря” до “Микола”». Рос озорным и непослушным, был драчун. <...> В Бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дома это знали и, чтоб проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным ножом, а 2 копейки клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки. Один раз дед догадался. Был скандал. Я убежал в другое село к тетке и не показывался до той поры, пока не простили» (7, кн. 1, 11).

Видимо, тонкая душа будущего поэта уловила общее угасание православной веры в простом народе и даже в Церкви – в ее представителях, общавшихся с народом. Впоследствии в повести «Яр» (1915) он передает тяжелыми образами этот упадок веры, считая, что, прежде всего, виновато священство, которое мертвенностью духа и леностным закоснением отталкивает простые души в язычество. Название «Яр» подчеркивает есенинское понимание современного духовного движения народа от мертвого Православия назад к язычеству – к Яриле на волне ярости восставшего народа. В этой повести сельский поп с причтом погрязли в быту, корысти и отказываются провести крестный ход во время падежа скота: «Хоть к митрополиту ступайте, – ругался поп. – Задаром я вам слоняться не буду» (5, 104). Пришлось народу совершить древний языческий обряд «опахиванья» села: «При опаживанье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший – колдун, который и наслал болезнь на скотину. Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть» (5, 105).

В «Ключах Марии» (1918) Есенин прямо определяет антихристианскую, оборотническую природу своего язычества и выражает вполне уже зрелое и сознательное отвращение к Православию: «Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьем вместо змия самого Христа» (5, 211). Здесь вскрывается гностический, офитский (змеепоклоннический) корень есенинского магизма: змий-сатана – это

подлинный бог-христос, а Христос Православия – это воистину сатанинский змий.

Уже на последнем году жизни Есенин вспомнил, как в ранней юности первое поэтическое вдохновение у него возникло вместе с осознанием злобного неверия, нараставшего в народе:

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В Бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.
Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.

(«Мой путь», 1925) (2, 160–161).

Вот и попытался юный поэт творчески возродить древнюю языческую веру, к которой на его глазах сама жизнь подталкивала народ. По его мнению, язычество надо было очистить от копоти веков, взять из него самое лучшее – одушевление и обожествление природы – и оживить с его помощью собственную душу и соборное сознание всего народа.

Последовательное развитие магического сознания неуклонно ведет к прямому самообожению. И вот с 1916 года у Есенина появляются демиургические порывы: поэт пока еще «смирненно», неуверенно начинает свое мирозидательное богослужение посреди божественной природы, в единстве с нею:

Твой глас незримый, как дым в избе.
Смирненным сердцем молюсь тебе.
<...>
В незримых пашнях растут слова,
Смешалась с думой ковыль-трава.

На крепких сгибах воздетых рук
Возводит церкви строитель звук.

(1916) (1, 102).

Отсюда – меньше шага до разгульных, ветреных, разбойных и богоборческих настроений зрелого Есенина. Как «хулиган» он признает упадочную, испорченную, нечистую суть своего отчизнолюбия:

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды

И в тишине ночной звенящий голос жаб. (2, 86–87)

<...> Я пришел, как суровый мастер,

Воспеть и прославить крыс. (2, 88).

(«Исповедь хулигана», 1920).

Уже на излете жизни озирая сотворенное, он в автобиографии 1922 года признал, что именно падшие люди более всего увлекаются его стихами: «Самые лучшие поклонники нашей поэзии – проститутки и бандиты» (7, кн. 1, 10).

В революционные годы, когда Россия превратилась в вулкан, извергающий на всю планету не то подземно-адские, не то космические стихии, предаваться вселенскому магизму стало особенно легко: жизнь словно бы тут же откликнулась на жизнетворческие порывы поэтической души. Так возникла череда небольших, неистово магических поэм 1917–1919 годов:

Листьями звезды льются

В реки на наших полях.

Да здравствует революция

На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,

Сеem пурговый свист.

Что нам слюна иконная

В наши ворота в высь?

(«Небесный барабанщик», 1918) (2, 69).

За это разгулье мрачного разрушения русской жизни автору пришлось платить сразу и с каждым годом все больше. Все чаще подступало тяжкое духовное похмелье, сочетавшееся с похмельем телесным, ибо лечить возраставшую душевную болезнь поэт пытался обычным магическим средством – наркотиком (в его случае – алкоголем). Вино лишь поначалу, да и то временно и призрачно поддерживало угасавший душевный огонь.

Другое средство подогрева дряхлеющей души, страстная любовь, также не помогало Есенину, ведь любовь, переживаемая магически, всегда трагична: она ведет к слиянию со всем божественным бытием, а значит, к смерти, пресечению отдельной частной жизни. Это поэт понимал изначально и пытался представить возможность вечной любви, впрочем, не шел дальше древней языческой демонологии. Отсюда, в частности, устойчивая русалочья тема в его лирике.

Магические попытки самообожения неминуемо вели к губительной душевной болезни, при том что само падение в духовную бездну томительно длилось:

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рошу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

(3, 188) («Черный человек», 1923 – 14 ноября 1925)

Тень упадочного настроения, неизменного спутника магизма, заметна в творчестве Есенина изначально. Его устойчивую склонность к тоске, тяготение к смерти, самоубийству не раз замечали уже современники (правда, обычно без понимания духовных причин).

Вспоминая смерть Есенина, В. В. Маяковский писал: «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, – огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подраッセялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно – стих, подведет под петлю или револьвер»².

А вот ранее признание самого 16-летнего поэта в письме М. П. Бальзамовой (вторая декада июля 1912): «Тяжелая, безнадежная грусть! Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой такое неприятное? Или – жить, или – не жить? И я в отчаянии ломаю руки, что делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле и так презрительно сказать – самому себе: зачем тебе жить, ненужный, слабый и слепой червяк? Что твоя жизнь?» (6, 10–11). То же настроение подтверждается в «Исповеди самоубийцы» (1913–1915).

Все чаще на склоне жизни он уповает на чувственность, простую и бездуховную, свободную от магических порывов и мистических надежд. Он в таком случае возвращается к самым ранним своим стихотворным опытам, но только поет сию сентиментальную песнь голосом зрелым, исполненным опыта и создает ряд удивительно красивых и безнадежно печальных стихов:

«Не жалею, не зову, не плачу...», 1921 (1, 163–164), «Отговорила роща золотая...» (1924) (1, 210), «Мы теперь уходим понемногу ...» (1924) (1, 201–202), «Цветы мне говорят – прощай ...» (27 октября 1925) (1, 293–294), «Клен ты мой опавший, клен заледенелый ...» (28 ноября 1925), (4, 233).

Он даже прямо провозглашает свой возврат к древнему кинизму с его проповедью животной чувственности:

Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!

(«Исповедь хулигана», 1920) (2, 88).

Одна из нижних ступеней чувственного воистину кинического схождения в животную бездуховность, попытки вжиться в собачью (и вообще животную) жизнь. Даже если в некоторых стихотворениях этого ряда остаточное пантеистическое одушевление мира еще сохраняется, человек в мировой

² Маяковский В. Как делать стихи? // Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 95-96.

иерархии сильно опускается, растворяясь в общей обезличенной одушевленности. Так, например, в «Собаке Качалова»:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.

1925 (1, 213-214).

Собака в этом падшем мире своей плотью и кровью оказывается ближе сердцу поэта, нежели призраки возлюбленных девушек, как, например, в стихотворении «Сукин сын» (31 июля 1924) (1, 207–208). Сукиным сыном оказывается не только щенок, похожий на прежнюю, околевшую теперь, собаку, но и сам поэт, вспоминая свою молодость. В зверином мире, сочиняя обращенные к животным стихи, поэт пытается найти исцеление и опору для продолжения жизни. Однако, все попытки вернуться к простой природной чувственности не приносят утешения.

На закате жизни Есенин жил в нарастающей боязни скорой расплаты с потусторонним черным заимодавцем. Так рождается и мучительно долго дорабатывается поэма «Черный человек» (1923 – 14 ноября 1925). Темная, призрачно-олицетворенная сила является из того зазеркального, оборотно-магического мира, который поэт так старательно воплощал в образах и который теперь рушится, забирая с собой пропащую душу:

Черный человек!
Ты – прескверный гость!
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...
.....
...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах, ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала!
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И – разбитое зеркало...

(3, 193–194).

Пытаясь увидеть в себе бога, поэт в итоге разглядел противника Бога, а значит – пустоту небытия.